

Мамино имя

"Полечка пришла!" — радостный папин крик звучал так, как будто бы мама вернулась домой после долгого отсутствия, а не из булочной на Канатной, в квартале от нас. Полечка — не только для папы, но и для многочисленной родни — братьев, сестер, племянников и племянниц. "Спросить у Полечки", "попросить Полечку", "пойти к Полечке", "позвать Полечку" — варианты были неисчерпаемы. Правда, пока был жив отец, их имена звучали почти слитно: с Полечкой нерасторжимо был связан "Степан Никитич"... Прожив долгую жизнь, они почти никогда не расставались надолго. Мы, видя их трепетное и бережное отношение друг другу, называли их "старосветскими помещиками" и, пожалуй, это было единственным, что роднило их с гоголевскими героями.

Мама родилась на Севере, в Вятской губернии. Когда Полечка подросла, отец отвез ее в город, в школу. Жить она стала в доме то ли родственников, то ли знакомых.

Однажды она так затосковала по дому, что после школьных уроков не вернулась туда, где поселил ее отец, а решила идти домой. Маленькая, хрупкая, она отчаянно шагнула на тракт, ведущий домой. Шла весь вечер, началась ночь, она уже выбивалась из сил, а тут еще то ли ей померещилось, то ли действительно увидела огоньки волчьих глаз, но она бросилась бежать к первой же избе, которая попала ей на пути. Спасибо, в "курной" избе (а она привыкла к янтарному теплу выскобленных половиц родительского дома) ее согрели, а утром отвезли домой. Когда она появилась на пороге своего дома, родители в ужасе закричали: "Полечка, как ты добралась, что случилось?!".

— Соскучилась! — ответила Полечка и зарыдала...

Конечно, и среди родных ее часто величали уважительно по имени и отчеству — Пелагея Андреевна (а в одесском дворе, естественно, в те годы — мадам Королёва!), но все равно за ним звучало нежное — Полечка!

Как-то, когда мамы уже не было, я вдруг подумала, что по лености никогда не поинтересовалась, что же значит ее имя. Я нырнула в словарь имен и была обескуражена. В словаре было определение "Пелагея — греч. *морская*". Таласса, Понт Евксинский, латинское Марина, но как Пелагея может быть морской?

Правда, в поисках однокорневых слов, я вспомнила о пелазгах — морском народе, как писал о них автор моей любимой трехтомной "Греческой

цивилизации" Андре Боннар. Да, а *архипелаг*?! Первая часть слова понятна, а вторая? В словарях была ссылка на итальянское происхождение этого слова, я даже нашла уточнение, что ввели его в научный оборот венецианцы, но объяснения второй части слова не было. Наконец, в совсем старом словаре я нашла толкование термина: вторая часть слова значит по-гречески "морской". Я, увы, не учила никогда древнегреческий, не знаю его лингвистических тонкостей, но нашла в словарях термин "пелагические" обитатели водных слоев и "пелагические" морские отложения...

Так что, Пелагея — морская! Жаль, что я не могу это рассказать маме, ей бы это было точно интересно!

Действительно, есть какая-то связь между именем и судьбой.

Из северного края в вихре послереволюционных лет мамина семья оказалась на Юге. Уже здесь мама окончила школу, а в девятнадцать лет вышла замуж. И Одесса стала ей родной, хоть никогда она не забывала свое северное детство, книги о русском Севере, которые я ей приносила, она перечитывала по несколько раз, всматривалась в фотографии северной народной архитектуры и всегда признавалась, что словно побывала на родине.

А море она полюбила с первого взгляда (у нее и глаза были серо-зеленого цвета, каким бывает тихое будничное море) и на всю жизнь. Ей уже было за восемьдесят, она жила с моей сестрой на поселке Котовского и радовалась, что может хоть иногда ездить в Лузановку (опираясь на свою палочку!) — к морю.

Море смывало ее заботы, ее тревоги за всех за нас, хоть на какое-то время она, не замечавшая пляжной суеты, словно отрешалась от повседневности. В ее жизни море было Праздником.

Даже морскую рыбу она предпочитала речной. А в тощие послевоенные годы мы ходили с ней на Привоз, в несенный уже давно старый рыбный корпус и покупали сетку мидий, из которых, как многие тогда в Одессе, мама варила плав — опять же, греческое название. Слово плов в нашем лексиконе появилось гораздо позже. Но никакой самый роскошный восточный плов не затмит в моей памяти тот мамин плав из мидий.

Почти вся жизнь прошла в Одессе, но северное происхождение, северное детство, может быть, ярче всего проявлялись в маминой речи, в которой сохранились слова и выражения, не встречавшиеся мною больше нигде. Наша Анечка до сих пор любит бабушкино словечко "дековаться". Я это слово нашла у Даля — "смеяться, шутить, насмехаться, подшучивать, издеваться над кем-либо, дурачить кого-либо. Леший декуется над нами, сбивает, заманивает" и т. д. Мама его употребляла в несколько ином смыс-

ле — чрезмерничать, лезть из кожи вон, то есть, все равно вести себя несурово, перебарщивать, а в итоге быть смешным. Мне пришлось подобрать несколько синонимов, чтобы объяснить этот глагол, в маминых устах звучащий емко и насмешливо. "Что ты декуешься?!" — сказала бы мама по поводу моих "изысканий".

В детстве, когда я пыталась хвостиком увязаться за старшими сестрами, мама предупреждала эти попытки словами: "Ну, вот! Куда люди, туда и мыслети!". С "людьми" все было понятно — это они, старшие, а я, маленькая, отношусь к каким-то незначительным "мыслям". Я настолько была уверена в таком толковании, что даже никогда не спрашивала, кто же все-таки эти непонятные "мыслети". И только гораздо позже, узнав названия букв в древнерусской азбуке, я поняла, что ничего обидного в этой поговорке не было, что люди и мыслети — Л и М, следуют друг за другом неукоснительно...

В маминой речи открывались исчезнувшие пласты русского языка, с которыми ничего общего не имеют новомодные "ряженые" архаизмы современных классиков. "Декуются!".

Родившаяся в начале двадцатого века и ушедшая в его конце, она пережила, как большинство ее сверстников, все лихолетья, беды, горести этого столетия, незначительная свидетельница всех потрясений, из числа тех, к кому не взывают историки, но чьи суждения о времени подчас точнее и искренней, чем многих служителей Клио. Правда, если бы она услышала о себе — "свидетельница истории", то смутилась бы и отмахнулась от этих слов.

Тем не менее, задолго до того, как об этом стало позволено говорить вслух, мы от мамы слышали и о Голоде двадцатых и тридцатых (войну и послевоенные годы мы уже и сами помнили), и об эшелонах с раскулаченными под Одессой, и о "ежовщине", и о разоренных храмах. Эти ее воспоминания естественно вплетались в рассказы о повседневной жизни — о невозможности купить хоть метр ситца или вечном страхе потерять хлебные карточки.

Это все засело в ее памяти такой болью, что и в поздние годы относительного благополучия она никогда не могла выбросить кусок черствого хлеба или старое платье, не разрезав его, чтобы сшить какие-нибудь передники для кухни или мешочки для крупы, это не было скупостью, а отражением все той же боли.

У нее были ясные представления о человеческих ценностях. Одним из самых сильных воспитательных средств было понятие стыда. "Это — стыдно!" — пожалуй, чаще всего употребляемый мамой аргумент. Когда меня

иногда подозревают в лицемерии или ханжестве за мое неприятие ненормативной лексики, я не могу объяснить, что во мне это на клеточном уровне. Мама таких слов, "ненормативная лексика", и не знала. Она знала — СКВЕРНОСловие. В изначальном смысле этого слова, совсем по Далю — "сквернословить, вести непристойные, зазорные, постыдные речи; срамно, похабно ругаться". Это был грех. Это был стыд и срам. Хоть гамму чувств могла передать очень емко и выразительно. "Мама, а что, у вас действительно никто не ругался?" — допытывались мы, став взрослыми. "Почему же, — говорила мама, — шалопуты всякие ругались. А нас строго воспитывали".

Вообще к слову относилась очень строго и трепетно. Терпеть не могла уничижительного отношения к имени.

Однажды в какой-то наш семейный праздник я вышла на кухню и увидела, что мама стоит расстроенная. "Мама, что случилось?" У мамы дрожат губы: "Как она могла тебя так назвать?!" — "Кто, как назвать?" — не понимаю я. "Как Женя могла тебе крикнуть — "Валька!""? Все мои попытки объяснить, что мы все так разговариваем, только подливали масла в огонь маминой обиды на Женю, к которой она всегда относилась (как и ко всем нашим друзьям!) с большой симпатией. Могу только признаться, что благодаря маме своих сестер ни разу в жизни я не назвала ни Ленкой, ни Тайкой, как и они меня Валькой.

Вспоминаю мамин воспитательный довод в детстве на какую-нибудь мою провинность: "Ты что, хочешь быть похожа на уличную девчонку?!". "Уличная девчонка" — это была угрожающая степень падения, Нет, нет, я совсем не хотела быть похожа на уличную, говорившую дурные слова девчонку!

Приучала нас к терпеливости и выдержке. Любой узелок нужно было развязать(!), не прибегая к помощи ножниц. Признаюсь, я до сих пор развязываю завязанные на узелки полиэтиленовые мешки, принесенные с базара, перед тем как выбросить их в мусор. Мамин урок!

Не зная испепеляющего чувства зависти — пожалуй, только в одном случае оно все же очень робко проявлялось. Когда речь шла об образовании. Ценою невероятных усилий родители сделали все, чтобы мы получили высшее образование. Мама же тайно мучилась его отсутствием в своей судьбе, не позволившей ей реализовать те способности, которыми ее щедро наделила природа — совершенно изумительную память, способность все схватывать на лету, логику мысли.

После войны Лена, моя старшая сестра, учится в медине. Ее подруги Алла Берлизова, Лиза Шварцапель, вернувшаяся с фронта Лида Вайнберг, Муза Доманская готовятся к экзаменам у нас. Мама тихонечко, что-

бы не мешать девочкам (а она сама еще совсем молодая), что-то шьет или вяжет, внимательно вслушиваясь в медицинские названия, легко их запоминая. "Как, как называется эта косточка (эта мышца, связка etc.?)?" — и пока лихорадочно перелистываются учебники, конспекты, мама, смущаясь, подсказывает искомый латинский термин, никогда не ошибаясь. "Мама, ну как ты это все запоминаешь?!" Мама от смущения пожимает худенькими плечиками — "Запоминаю...".

Потом приходит черед постигать науку с Таей и ее подружками. С тем же интересом и вниманием мама вслушивается и запоминает технологические термины. Мне очень жаль, что мама не училась со мной в Ленинградском университете. Ей было бы очень интересно! И мы бы с полным правом ей говорили: "Мама, у тебя три образования!".

Память была потрясающая. Она любила обстоятельно рассказывать, с мельчайшими подробностями описывая пуговички, складочки, воротнички строгих блузок своих дореволюционных учительниц, называя десятки имен нам не известных людей, вспоминая подробнейшие детали северного детства, свои первые впечатления на юге. Часто с юмором.

Так, среди смешных ее рассказов мы вспоминаем историю с арбузом. В первые же дни на юге кто-то угостил детей, маму, ее сестер и братьев — Дунечку, Санечку, Павлушу, Егора и Шуру (перечисление имен всех участников было непременным условием, чтобы никого не забыть и, следовательно, не обидеть!) — арбузом. "Что это?" — спросили дети, не видевшие прежде такой диковины, ведь на их северное детство пришлось первая мировая, революция, гражданская война. Им объяснили. "А он какой?" — "Сладкий" — "А, сладкий! Спасибо!" Через какое-то время угощавшие видят, что арбуз не тронут. "Дети, почему же вы не съели арбуз?" — "Мы его оставили к чаю" — "Как, к чаю?!" — "Но вы же сказали, что он сладкий!"

Жизнь не баловала маму. Редкие путешествия — Ленинград, Москва, Киев, Севастополь, Ялта, Балаклава, поездка с папой на его родину — она хранила в своем сердце, постоянно перебирая в памяти эти драгоценные воспоминания. Только младшая сестра, Санечка, побывала через много лет на их родине. С какой жадностью мама расспрашивала ее о том, что сохранилось от родительского дома, от запомнившегося на всю жизнь пейзажа родных мест...

Я вернулась из Израиля, и мама так же дотошно расспрашивала меня, словно сверяя мои впечатления с папиными рассказами о Святой земле.

В потаенных уголках ее памяти хранилось так много воспоминаний, людей, событий. И много стихов. Вдруг она могла прочесть какую-нибудь балла-

ду Жуковского или "Емшан" Аполлона Майкова, то, что она слышала, учила еще в далекие школьные годы. Она вообще любила стихи, а особенно поэмы с долгим повествованием, сюжетом (особенно историческим). В послевоенные годы при свете керосиновой лампы мама любила читать вслух. Она читала Пушкина, Лермонтова (вспоминаю толстую синюю тетрадку, в которую был переписан "Маскарад" Лермонтова. У нас был только том лермонтовских стихов). Но благодаря маме все мое детство прошло со стихами и поэмами Некрасова. Он был самым любимым ее поэтом. "В мире есть царь, этот царь беспощаден, Голод названье ему", — мамин голос дрожит, а у меня полные глаза слез. Герои и героини Некрасова мне казались похожими на моего дедушку Андрея Сергеевича Семеновых (мама очень любила свою девичью фамилию — из рода Семеновых (!) и злилась на советскую власть, заменившую родовое имя дедушки на простецкое Семенов) и бабушку Анисью Николаевну. Но, конечно же, прежде всего многие строки, образы я связывала с маминым детством. "Плакала Саша, как лес вырубали, ей и теперь его жалко до слез. Сколько тут было кудрявых берез!", "Саша сбирала цветы полевые, с детства любимые, с детства родные, каждую травку соседних полей знала по имени...". Не только о Саше, а о маме в детстве, о маленькой Полечке, казалось мне, были написаны эти и многие другие некрасовские строки.

В молодости она даже попыталась написать в ритмизированной прозе, напоминающей стихи, о своем детстве, о прощании с родиной, о долгом пути на юг, в неизвестность. У меня перед глазами стоит удлиненного формата альбом, страница, заполненная маминым убористым почерком. Мы с сестрами после маминого ухода пытались найти этот альбом, но тщетно. Очевидно, мама его уничтожила, считая свои мемуарные пробы юношеской блажью, нескромностью. Как жаль!

Северная русская семья. Уже здесь, на юге, этот северный круг был разомкнут. Мамин старший брат Павлуша женился на дочери немецкого колониста. А потом все новые этнические ветви появлялись на этом древе, пересаженном с севера на юг. Мамина младшая сестра Санечка мне недавно написала, что насчитала в нашей родне шестнадцать национальностей. "И все родные!" — пишет Санечка. Вот вам русская семья, вот вам юг, вот вам Одесса!

Мама прожила долгую, полную трудов и лишений, любви и достоинства, жизнь, до последнего часа сохраняя ясность ума и прозрачную чистоту речи. Вокруг нее всегда был тихий теплый свет, как от восковой свечи. Она и ушла от нас, отгорев, как свечечка. Наша Пелагея Андреевна. Наша Полечка. Наша мама.